

## "МОЙ СТАРЫЙ ЦАРЬ СОЛОМОН..."

Тему прощания с молодостью, утраты юности и свежести, "буйства глаз и половодья чувств" поднимали многие поэты. Но вот рубикон перейдён, неизбежное случилось. Розовый конь ещё скачет, но уже неумолимо приближается к той пропасти, которой не суждено миновать никому.

А старость — это Рим, который  
взамен турусов и колёс  
не читки требует с актёра,  
а полной гибели всерьёз.  
(Б.Пастернак)

Поэзия не любит говорить о старости. О весенних порывах юности — да, о смерти — сколько угодно. А вот старость — это почти табу. Уж очень неаппетитная тема. Открыл её в русской поэзии Пётр Вяземский своим знаменитым стихотворением о халате, который носить уже стыдно, а выбросить — жалко:

Жизнь наша в старости — изношенный халат:  
и совестно носить его, и жаль оставить;  
мы с ним давно сжились, давно как с братом брат;  
нельзя нас починить и заново исправить.

Как мы состарились, состарился и он;  
в лохмотьях наша жизнь, и он в лохмотьях тоже,  
чернилами он весь расписан, окроплён,  
но эти пятна нам узоров всех дороже;

в них отпрыски пера, которому во дни  
мы светлой радости иль облачной печали  
свои все помыслы, все таинства свои,  
всю исповедь, всю быль свою передавали.

На жизни также есть минувшего следы:  
записаны на ней и жалобы, и пени,  
и на неё легла тень скорби и беды,  
но прелесть грустная таится в этой тени.

В ней есть предания, в ней отзыв, нам родной,  
сердечной памятью ещё живёт в утрате,  
и утро свежее, и полдня блеск и зной  
припоминаем мы и при дневном закате.

Ещё люблю подчас жизнь старую свою  
с её ущербам и грустным поворотом,  
и, как боец свой плащ, простреленный в бою,  
я холю свой халат с любовью и почётом.



**П.А. Вяземский. 1870-е гг.**

Изношенный метафизический халат дорог нам даже пятнами и дырами своими, ибо всё это — наша прожитая жизнь. В этом халате нам подчас тепло и уютно, в нём тоже есть своя прелесть. Хороша старость "бодрая", "с закатом ясным":

Куда девались вы с своим закатом ясным,  
дни бодрой старости моей!  
При вас ни жалобой, ни ропотом напрасным  
я не оплакивал утраты юных дней.

Нет, бремя поздних лет на мне не тяготело,  
ещё я полной жизнью жил;  
ни ум не увядал, ни сердце не старело,  
ещё любил я всё, что прежде я любил.

Не чужды были мне налёты вдохновенья,  
труд мысли, светлые мечты,  
и впечатлительность, и жертвоприношенья  
души, познавшей власть и прелесть красоты.

Но — недуги, болезни, страдания, тяготы жизни уничтожают прежнего человека, то лучшее, что в нём было:

И ум, и сердце исхудали;  
побит морозом жизни цвет.  
Того, которого вы знали,  
того уж Вяземского нет.

Есть разве тёмное преданье  
о светлой некогда судьбе,

на хладном гробе начертанье,  
поминки по самом себе.

"Себя, живой мертвец, переживаю я", — пишет Вяземский, предвосхищая "Пляски смерти" Блока. Поэт ждёт избавления от постылого, затянувшегося существования, а смерть запаздывает, обманывает его ожидания.

Свой катехизис сплошь прилежно изуча,  
вы бога знаете по книгам и преданьям,  
а я узнал его по собственным страданиям  
и, где отца искал, там встретил палача.

Вот чем я промыслом на старость награждён,  
вот в чём явил свою премудрость он и благость:  
он жизнь мою продлил, чтоб жизнь была мне в тягость,  
чтоб проклял я тот день, в который я рождён.

Как неприглядна старость! Почему человек не увядает так же красиво и поэтично, как цветок?

Зачем не увядаем мы,  
когда час смерти наступает,  
как с приближением зимы  
цветок спокойно умирает?

К нему природы благ закон,  
ему природа — мать родная:  
ещё благоухает он,  
ещё красив и увядая.

Его иссохшие листки  
ещё хранят свой запах нежный,  
он — дар нам памятной руки  
в день слёз разлуки безнадежной.

Его мы свято бережём  
в заветной книге дум сердечных,  
как весть, как песню о былом,  
о днях, так грустно скоротечных.

Для нас он памятник живой,  
хотя он жизнью уж не дышит,  
не вспрыснут утренней росой  
и в полночь соловья не слышит.

Как с другом, с ним мы говорим  
о прошлом, нам родном и общем,  
и молча вместе с ним грустим  
о счастье, уж давно усопшем.

К теме старости часто обращался и поэт 19 века Константин Случевский. Но он видел в ней и совершенно иные черты: он пишет о свободе и независимости старости, о её внутреннем свете:

Здесь счастлив я, здесь я свободен, —  
свободен тем, что жизнь прошла,  
что ни к чему теперь не годен,  
что полуслеп, что эта мгла

своим могуществом жестоким  
меня не в силах сокрушить,  
что светом внутренним, глубоким  
могу я сам себе светить,

и что из общего крушенья  
всех прежних сил, на склоне лет,  
святое чувство примиренья  
пошло во мне в роскошный цвет...

Не так ли в рухляди, под хламом,  
из перегноя и трухи,  
растут и дышат фимиамом  
цветов красивые верхи?



**Константин Случевский**

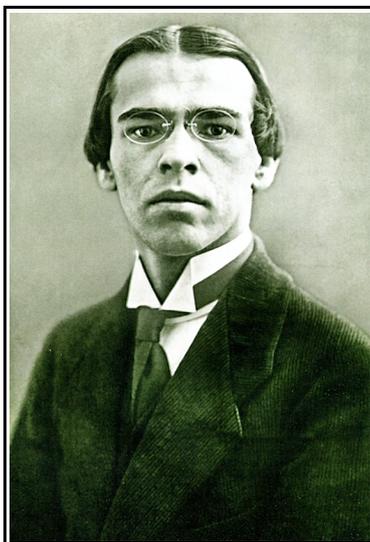
Однако внешне старость редко радует взор. И человек, глядя на склоне лет в зеркало, не может примириться с увиденным, с сознанием, что теперь это его облик:

Кому же хочется в потомство перейти  
в обличьи старика! Следами разрушений  
помечены в лице особые пути  
излишеств и нужды, довольства и лишений.  
Я стар, я некрасив... Да, да! Но, Боже мой,  
ведь это же не я!.. Нет, в обличье особом,  
не сокрушаемом ни временем, ни гробом,  
который некогда я признавал за свой,

хотелось бы мне жить на памяти людской!  
И кто бы не хотел?..

На память невольно приходит знаменитое "Перед зеркалом" Ходасевича:

Я, я, я. Что за дикое слово!  
Неужели вон тот — это я?  
Разве мама любила такого,  
жёлто-серого, полуседого  
и всезнающего, как змея?  
Разве мальчик, в Останкине летом  
танцевавший на дачных балах, —  
это я, тот, кто каждым ответом  
желторотым внушает поэтам  
отвращение, злобу и страх?  
...и Вергилия нет за плечами.  
Только есть одиночество в раме  
говорящего правду стекла.



**Владислав Ходасевич**

Однако человек способен это уродливое старческое "я" украсить цветами своей памяти, мечты, воспоминаний. Вот как это делает Случевский:

Я стар! Но разве я мечтами  
о том, как здесь встречались мы,  
не в силах сам убрать цветами  
весь этот снег глухой зимы?

И разве в старости печальной  
всему прошедшему не жить?  
И не единой музыкальной,  
хорошей думы не сложить?

О, нет! Мечта полна избытка  
воспоминаний чувств былых...  
Вот, вижу, лето! Вот калитка  
на петлях звякает своих.

Июньской ночи стрекотанье...  
И плеск волны у берегов...  
И голос твой... и обожанье, —  
и нет зимы... и нет снегов!

Ему словно вторит Фёдор Сологуб:

Но что мне помешает  
воздвигнуть все миры,  
которых пожелает  
закон моей игры?

Живи и верь обманам,  
и сказкам, и мечтам.  
Твоим душевным ранам  
отрадный в них бальзам. —

Это то, что называлось сологубовским солипсизмом: представление о мире как о порождении творческого я, о несуществовании бытия за пределами поэтического сознания.

Иные поэты к концу жизни что называется исписываются, исчерпывают свой творческий потенциал, начинают перепевать себя или вообще замолкают. Но есть такие, кто до глубокой старости сохраняют свежесть чувств и вдохновенность творческих порывов. Например, Фет. Незадолго до смерти он выпускает сборник стихов "Вечерние огни" — после 20 лет молчания, а затем, с промежутками в 2-3 года — ещё три небольших сборника под тем же заглавием. Пятый выпуск "Вечерних огней" вышел уже после его кончины.

Это было очень точное название — то были именно огни, свет в конце жизни, подлинное чудо возрождения: старик Фет творил так же вдохновенно, что и в молодые годы, поистине обретя новое поэтическое дыхание.

Полуразрушенный, полужилец могилы,  
о таинствах любви зачем ты нам поёшь?  
Зачем, куда тебя домчать не могут силы,  
как дерзкий юноша, один ты нас зовёшь?

— Томлюся и пою. Ты слушаешь и млеешь;  
в напевах старческих твой юный дух живёт.  
Так в хоре молодом "Ах, слышишь, разумеешь?" —  
цыганка старая одна ещё поёт.

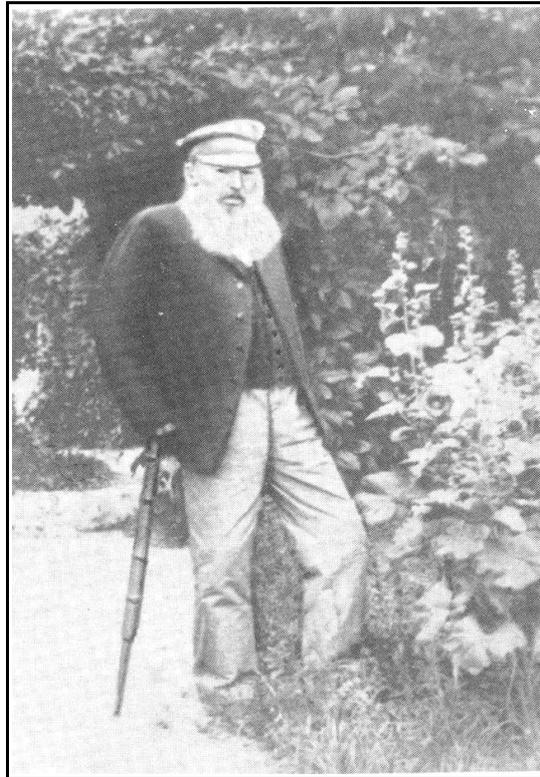
И в "старческих" любовных стихах Фета было всё то же чувство влюблённости в жизнь, в её вечную красоту, осознаваемую поэтом на исходе лет с ещё большей остротой:

Ещё люблю, ещё томлюсь  
перед всемирной красою

и ни за что не отрекусь  
от ласк, ниспосланных тобою.

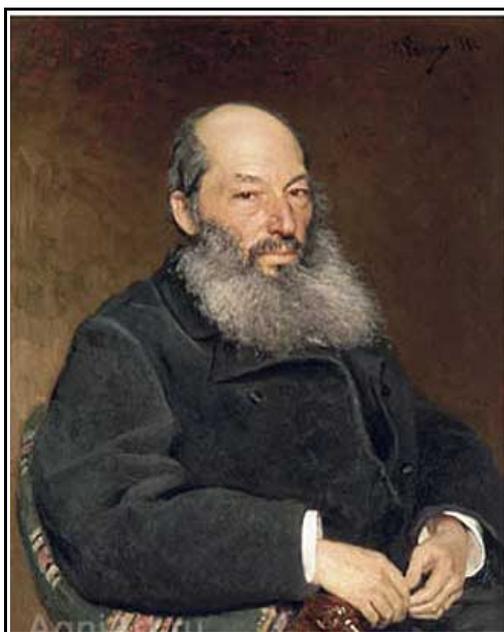
Покуда на груди земной  
хотя с трудом дышать я буду,  
весь трепет жизни молодой  
мне будет внятен отовсюду.

Покорны солнечным лучам,  
так сходят корни в глубь могилы  
и там до смерти ищут силы  
бежать навстречу вешним дням.



Творчество А.Фета похоже на куст, на котором из года в год расцветают всё те же цветы.

Всё, всё моё, что есть и прежде было,  
в мечтах и снах нет времени оков,  
блаженных грёз душа не поделила:  
нет старческих и юношеских снов.  
За рубежом вседневного удела  
хотя на миг отрадно и светло,  
пока душа кипит в горниле тела,  
она летит, куда несёт крыло.



**А.А. Фет. Портрет работы И.Е. Репина (1882)**

В другом облике, но в той же сущности донёс Фет до последних дней свою душу, донёс её неутомлённой, неразменной, неувядшей. Фету как художнику была свойственна человеческая цельность. И потому и в 70 лет он мог напечатать вот такое стихотворение:

#### На качелях

И опять в полусвете ночном  
среди верёвок, натянутых туго,  
на доске этой шаткой вдвоём  
мы стоим и бросаем друг друга.

И чем ближе к вершине лесной,  
тем страшнее стоять и держаться,  
тем отрадней взлетать над землёй  
и одним к небесам приближаться.

Правда, это игра, и притом  
может выйти игра роковая,  
но и жизнью играть нам вдвоём —  
это счастье, моя дорогая!

Фельетонисты издевались над Фетом, называя "мышиним жеребчиком". "Не везёт бедному Фету! В 68 лет писать о свиданиях и поцелуях, — иронизировал один. — Вообразите сморщенную старуху, которая ещё не потеряла способности возбуждаться, — крайне непривлекательный вид у Музы г-на Фета!"

"Представьте себе, — подтрунивал другой, — этого старца и его "дорогую", "бросающих друг друга" на шаткой доске... Представьте себе, что "дорогая" соответствует по годам "дорогому", как тут не рассмеяться на старческую игру новых Филемона и Бавкиды, как тут не обеспокоиться, что их игра может окончиться неблагоприятно для разыгравшихся старичков"? А вот что писал сам Фет по поводу этого стихотворения:

"Сорок лет тому назад я качался на качелях с девушкой, стоя на доске, и платье её трещало от ветра, а через сорок лет она попала в стихотворение, и шуты гороховые упрекают меня, зачем я с Марьей Петровной качаюсь".



Ты изумляешься, что я ещё пою,  
как будто прежняя во храм вступает жрица,  
и, чем-то молодым овеяв песнь мою,  
то ласточка мелькнёт, то длинная ресница.

Не всё же был я стар, и жизненных трудов  
не вечно на плеча ложилася обуза:  
в беспечные года, в виду ночных пиров,  
огни потешные изготавляла муза.

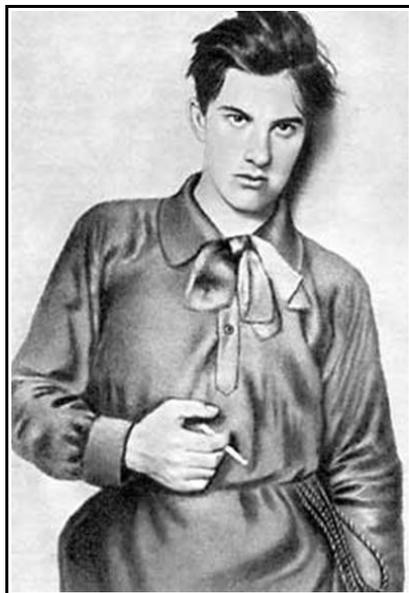
Как сожигать тогда отрадно было их  
в кругу приятелей, в глазах воздушной феи!  
Их было множество, и ярких, и цветных, —  
но рабский труд прервал весёлые затеи.

И вот, когда теперь, поникнув головой  
и исподлобья вдаль одну вперяя взгляды,  
раздумье набредёт тяжёлою ногой  
и слышишь выстрел ты, — то старые заряды.

Маяковский маниакально боялся старости. Он с болезненным ужасом ждал её с молодых лет. Старость страшила его больше смерти. Где-нибудь в случайной компании, за картами, совершенно на ровном месте, он вдруг слегка отворачивался в сторону, хлопал в ладоши и произносил чуть ли не радостно: "К сорока застрелюсь!" (Когда был моложе, называл другую цифру: "К тридцати пяти — обязательно!") Лиля Брик убеждала его, что он не балерина, что старость ему не страшна, что Лев Толстой и Гёте были не молодой и старый, а Толстой и Гёте. Так же и он в любом возрасте — Владимир Маяковский. Что она будет целовать каждую его морщинку. Что "позорное благоразумие", которого он так боится — не обязательно свойство старости. Л. Толстой ведь не поддался ему, ушёл. Глупо ушёл, по-

молодому. Но убедить его не могла.

У меня в душе ни одного седого волоса,  
и старческой нежности нет в ней!  
Мир огромив мощью голоса,  
иду — красивый — двадцатидвухлетний.



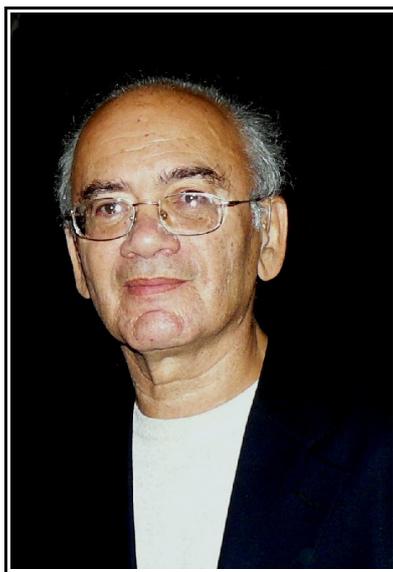
**Владимир Маяковский**

Он хотел остаться таким. "Мёртвые остаются молодыми" — назвала свой роман Анна Зегерс.

А можно относиться к своей старости с юмором, как, например, Александр Кушнер:

Выйти на улицу — целое дело.  
О, неужели про всё рассказать?  
Что ж, это трудно и, может быть, смело!  
Нижнее надо бельё надевать,  
паспорт в карман и счета, если надо  
их оплатить, но заполнить сперва.  
Где телефон мой мобильный? Досада:  
только что видел его. Все слова  
сказаны жалкие. Вот он, спасибо! —  
это тебе говорю впопыхах.  
И слуховой аппарат ещё, ибо  
я глуховат — у меня теперь страх  
есть и такой: не понять, не расслышать.  
Да, кошелёк, кошелёк, кошелёк —  
вот он! Так, видимо, мечутся мыши  
в родах, как некто игриво изрёк.  
Как я справлялся со всем этим прежде,  
в юные годы — не вспомнить уже.

Или спасение было в надежде  
и утешение было в душе?  
В тапках, не бойся, не выйду. Ботинки  
зашнуровал и пальто застегнул.  
Всё! До свидания. Как в поединке,  
выдержал, выжил, за двери шагнул,  
лифт вызываю. Ключи не забыты.  
Но возвращаюсь: платок носовой!  
Что это боги на нас так сердиты?  
Как не поддаться тоске мировой?



**Александр Кушнер**

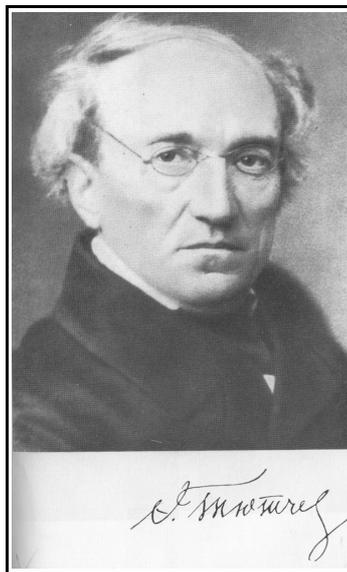
Не правда ли, многие узнают себя в этих бытовых зарисовках? Но стоит ли "поддаваться тоске мировой" по поводу того, что всё равно неизбежно. Ведь это, пожалуй, единственное, что мы можем противопоставить "полной гибели всерьёз" — улыбку над собой и смех сквозь слёзы.

Однажды по ТВ показали в новостях сюжет: бабулька, попавшая в автомобильную аварию, пришедшая в себя после реанимации, спросила у врача, едва очнувшись: "А бен Ладена уже поймали?" У меня тут же возник экспромт:

В реанимации, в рай не доехав,  
очнувшись, спросила: "Пойман бен Ладен?"  
Так вот и надо жить, кроме смеха, —  
полною грудью дышать на ладан.

Всех, кто близко знал Тютчева в его последние годы, поражала его свобода от груза лет. И.Аксаков (его зять) писал об этом: "Кроме внешних примет, Тютчев казался как бы непричастным действиям возраста: до такой степени не было ничего старческого ни в его уме, ни в его духе. Никто никогда не относился к нему как к старику." Это было не просто человеческое лицо, а какое-то неуловимое, невольно поражающее каждого сочетание линий и

штрихов, в которых жил высокий дух гения. На плотно сжатых губах блуждала грустная ироническая улыбка, а глаза, задумчивые и печальные, смотрели сквозь стёкла очков загадочно, словно что-то прозревая впереди.



**Ф. И. Тютчев**

"Продолжаю думать о старости, — писала Аделаида Герцык. — Почему люди боятся её? Мы идём, идём, часто торопим жизнь, устремляясь к концу, и в то же время гоним от себя призрак близости его. У меня много беспорядка во всём — не только в комодах и вещах, вечно пропадающих, но и в мыслях, чувствах, — и это утомляет и мучает. В старости наступит порядок, ясность, простота — всё случайное откинется, и только тогда станет видно, как мы усложняем свою душу и жизнь, какими мешающими, ненужными вещами отягчаем её". ("О старости").



**Аделаида Герцык**

Герцык спорит с подругой, которая боится наступления старости. "Душа притупилась, — жалуется та, — я старею, и умирает способность страдания". "Это неверно, — возражает Герцык, — старость не тупость, а покорность, освобождение от всего

ненужного".

"То есть от способности чувствовать, думать, жить..." — говорит первая с горечью.

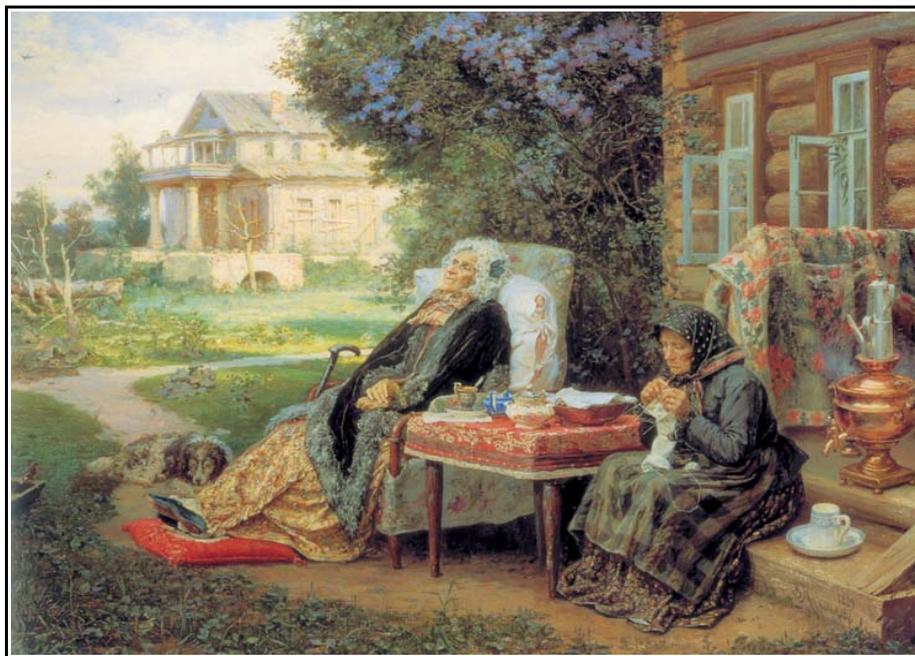
"Не чувствовать и жить, а *так* жить, *так* чувствовать, — жадно, цепко, для себя, — уже с гневом настаивает Аделаида. — Старость — благословенна, естественна, кротка, и я от души желаю тебе её как можно скорей!"

Подруга улыбается, но говорит устало: "И всё-таки старость есть умиранье. И когда ещё жива в душе память и тоска о сильном и ярком, а догорел самый огонь жизни, то..." и она умолкает. Герцык почти плачет от неумения доказать, заразить своей верой:

"Ах, это не так! Это "сильное и яркое", о чём ты сказала, ведь оно уже *было*, а теперь нужно другое! Пойми, не ты стареешь, не душа твоя, а только разные миги, радости, желания; они, как цветы, осыпаются и сменяются другими... Ну вот миг, когда хочется влюблённости, при луне выбежать к гимназисту на свидание, или честолубие, или даже боль личная, — *это* отмирает, а не ты!" Она говорила, как будет легко уж оттого, что не станет "страха старости", этого отравляющего, стерегущего нас чувства.

"Да, но уж в Италию тогда не выбраться, — замечает подруга, зная мечту Герцык.

"И это хорошо! Станет легче, когда погаснет горячка путешествий. Ну разве тебе не хочется, чтобы всё стало окончательнее, ближе к правде? Весело становится, проще — я на себе уж чувствую это. Отпадает любовь к изощрённому, начинаешь ценить самые простые вещи: жалость, например, больше, чем остроумие, самую простую жалость, как у народа, как у детей..."



**Василий Максимов. Всё в прошлом.**

Под впечатлением всех этих мыслей у меня родились тогда такие строчки:

\*\*\*

*Могучая евангельская старость  
и тот горчайший Гефсиманский вздох...*

А.Ахматова

Счастье юных, тёмное, неверное,  
как остро и жадно его жало.

Счастье старых, мирное и мерное,  
знает лишь прощение и жалость.

Старость чем-то схожа с тихой пристанью,  
где земное всё уже свершилось,  
и она глядит светло и пристально  
на волны бушующую живость.

И ещё:

Я осень люблю и в природе, и в людях,  
когда успокоятся жаркие страсти,  
когда никого не ревнуют, не судят,  
и яркое солнце глаза уж не застит.

На кроткие лица гляжу умилённо,  
их юными, дерзкими, детскими помня.  
А жёлтые листья красивей зелёных,  
и лунная ночь поэтичнее полдня.

Ещё один пример из классики. Наталья Крандиевская-Толстая, жена Алексея Толстого, послужившая прототипом образа Кати Булавиной в "Хождении по мукам". Она была не только долголетним спутником жизни и творческим помощником А.Толстого, но и сама по себе наделена ярким поэтическим и писательским дарованием.



Когда Наталье Крандиевской исполнилось сорок семь — в её семью вошла разлучница, дочь наркома Людмила Крестинская, на 21 год моложе её мужа. Она и стала его четвёртой женой, на этот раз последней. В стихах Натальи Крандиевской мы читаем горькую и — несмотря ни на что — светлую историю её преданной любви и одинокой старости.

Как песок между пальцев, уходит жизнь.  
Дней осталось не так уж и много.  
Поднимись на откос и постой, оглядись, —  
не твоя ль оборвалась дорога?

Равнодушный твой спутник идёт впереди  
и давно уже выпустил руку.  
Хоть зови — не зови, хоть гляди — не гляди,  
каждый шаг ускоряет разлуку.

Что ж стоишь ты? Завыть, заскулить от тоски,  
как скулит перед смертью собака...  
Или память, и сердце, и горло — в тиски,  
и шагать — до последнего мрака.

"Итак, всё было кончено. Сметено с пути всё, что казалось до сих пор нерушимым. Двадцать лет любви и сорок семь лет жизни. Таков свирепый закон любви. Он говорит: если ты стар — ты не прав. Если ты молод — ты прав и ты побеждаешь."

Разрыв с Толстым принёс Крандиевской большую боль. Она мужественно несла своё горе и одиночество, не опускаясь до дрызг, мести, сведения счётов в своих мемуарах. Она не уронила своей высоты и достоинства и продолжала его любить светло, прощающе, любить издалека.

Так тебе спокойно, так тебе не трудно,  
если издалёка я тебя люблю.  
В доме твоём шумно, в жизни — многолюдно.  
В этой жизни нежность чем я утолю?

Отшумели шумы, отгорели зори,  
день трудов окончен. Ты устал, мой друг?  
С кем ты коротаешь в тихом разговоре  
за вечерней трубкой медленный досуг?

Долго ночь колдует в одинокой спальне,  
записная книжка на ночном столе...  
Облик равнодушный льдинкою печальной  
за окошком звёздным светится во мгле.

Милый, бедный, глупый! Только смерть научит  
оценить, оплакать то, что не ценил.  
А пока мы живы, пусть ничто не мучит,  
только бы ты счастлив и спокоен был.



**Наталья Крандиевская и Алексей Толстой**

Как часто для нас признаком мужества служит непокорность судьбе, пресловутая борьба за своё чувство. Но разве меньше напряжения душевных сил, меньшего мужества и благородства требует решение уйти со сцены, в одиночку принять удар судьбы, выстоять, не зачеркнув прошлого, на запятнав его ничем, даже ревностью?

Зачем когтишь ты, старая, меня,  
бессонницей мне изнуряешь тело,  
ожогами нечистого огня?  
Не им светила я, не им горела...

В стихах из цикла "Разлука" отчаяние, смятение, боль уступают перед доводами разума, перегорают в нелёгкой борьбе с самой собой, давая место врачующему покою, мудрой просветлённости чувства:

Глаза, распахнутые болью,  
глядят на мир, как в первый раз,  
дивясь простору и раздолью  
и свету, греющему нас.

А мир цветёт, как первозданный,  
в скрещенье радуги и бурь,  
и льёт потоками на раны  
и свет, и воздух, и лазурь.

Её не смогла сломать эта страшная личная драма, лишившая её жизнь главного смысла.

Виноградный лист в моей тетради,  
очевидец дней былых и той  
осени, что в спелом винограде  
разлилась отравой золотой.

Выпито вино того разлива  
уж давно. И гол, и пуст, и чист  
виноградник, где он так красиво  
пламенел, засохший этот лист.

Те стихи, в которые закладкой  
вложен он, — боюсь перечитать.  
Запах осени, сухой и сладкий,  
источает старая тетрадь.



В конце жизни Крандиевской выпало ещё одно испытание, ещё одна проверка на мужество. Надвигающаяся слепота растворила всё окружающее в "бесформенном скоплении теней". Но она не сломлена. Она готова принять без ропота "недуги старости и бремя слепоты". Она напишет книгу стихов о старости, на удивление оптимистичных. Вот одно из них:

Вещи есть совсем обычные,  
незаметные, привычные,  
и не думаем о них.  
Например, вот эта палочка,  
путевод и выручалочка,  
антигона всех слепых.

Мне она отныне спутница,  
от любой беды заступница,  
шепчет: "Стой, не торопись,  
осторожно, помаленечку  
отыщи ногой ступенечку  
и на ней не оступись!"

Я в пути твоём разведчица,  
я за каждый шаг ответчица,  
шарю, шарю впереди...  
Здесь ложбинка, здесь обочина,  
здесь тропа дождём источена,  
ну а здесь — смелей иди!"

И она идёт. Она верит в свою звезду и надежду. И об этом её стихотворение, написанное в 71 год:

Давно с недугами знакома,  
и старость у меня как дома,  
но всё же до сердцебиения

хочу весны, её цветения,  
её пленительных тревог  
и радостей (прости мне Бог).

Со сроками вступаю в спор.  
И до каких же это пор?  
Пора бы знать, что эти сроки  
неоспоримы и жестоки.  
Они — как длительный конфуз  
для престарелых старых муз.

Стихами горбится подушка.  
Стыдись, почтенная старушка,  
и "поэтических затей",  
и одержимости своей!

Усни. Сложи на сердце руки,  
и пусть тебе приснятся внуки,  
не элегический сонет.  
Увы! Сонетов больше нет.  
Но есть молчанье у порога,  
где обрывается дорога.



**В.Д. Поленов. Бабушкин сад (1879)**

Закат жизни всегда печален, но как молодо и светло звучит голос поэта:

Давно отмерена земного счастья доза,  
давно на привязи табун былых страстей,  
но, Боже мой, как пахнет эта роза  
над койкою больничною моей!

Сразу на память приходит ахматовское, тоже написанное на закате жизни:

Всё возьми, но этой розы алой  
дай мне свежесть снова ощутить!

Любовь в старости. Возможна ли она? Это чувство привычно ассоциируется с юностью, свежестью. И если любовь молодой девушки к человеку в годах сейчас уже никого не удивляет, то любовь к старой женщине представляется по меньшей мере неестественной, неправомочной. Охлаждение мужа, измена, уход к молодой сопернице, как в случае с Натальей Крандиевской и А.Толстым — история вполне типичная... Но нет правил без исключений. Таким счастливым исключением стала любовь Георгия Иванова и Ирины Одоевцевой, которые последние годы совместной жизни провели в Доме престарелых на юге Франции.



**Ирина Одоевцева**

Ирина Одоевцева умела быть счастливой и в старости, и всегда говорила: "Возраста не существует". До 90 лет она оставалась Женщиной: маникюр, духи, туфли на высоком каблуке... В 80 лет раскатывала по Парижу в собственном автомобиле, и у неё были ещё поклонники и обожатели. Она не молодилась, она была молодая. Георгий Иванов любил её до конца жизни и всегда восхищался ею. Говорил: "Если бы ты даже превратилась в жабу, я бы всё равно тебя любил, носил бы за пазухой и был счастлив..." Он продолжал любить жену и в старости с той же страстью, мучительной нежностью и тоской, что и в молодые годы. И в его поздних, предсмертных стихах ему удалось с удивительной непосредственностью и убедительностью передать то мучение любви, сплетённое со счастьем, то "блаженство и безнадежность", которые в старости, по Тютчеву, может быть, и обостряются до крайности, но по существу друг от друга неотделимы:

В этом томном, глухом и торжественном мире — нас двое,  
больше нет никого. Больше нет ничего. Погляди:  
потемневшее солнце трепещет, как сердце живое,  
как живое влюблённое сердце, что бьётся в груди.

Для чего, как на двери небесного рая,  
нам на это прекрасное небо смотреть,  
каждый миг умирая и вновь воскресая,  
для того, чтобы вновь умереть.

Для чего этот лёгкий торжественный воздух  
голубой средиземной зимы  
обещает, что где-то — быть может, на звёздах —  
будем счастливы мы.

Утомительный день утомительно прожит,  
голова тяжела, и над ней  
розовеет закат — о, последний, быть может, —  
всё нежней, и нежней, и нежней...

Конечно, после Г.Иванова приводить свои стихи — бестактность и кощунство, но всё же осмелюсь процитировать и кое-что своё на эту тему, тему многолетней любви, пронесённой сквозь годы:

В волосах — ни седины, в глазах — ни грустинки,  
и ни капли горчинки в горячей крови.  
Я прошу тебя, жизнь: не меняй ту пластинку,  
пусть закружит нас вальс вечно юной любви.

Всё, что бредило, зрело во мне и бродило,  
лишь сумятице сердце прикажет: нахлынь! —  
то теперь до последней морщинки родимо,  
и качает меня твоей ласки теплынь.

\*\*\*

Никто уже не смотрит вслед,  
а было время — оборачивались.  
Как сбросить нам заклетье лет,  
в царевен снова оборачиваясь?

И, кажется, рецепт простой:  
целуй меня, целуй сто раз, молю,  
и стану, словно в сказке той,  
я Василисою Прекрасною.

\*\*\*

Как трудно оставаться тою,  
к которой ты привык давно:  
с летящей прядью золотою,  
слепящей юной красотой,  
дурманящею, как вино.

Года подсунули подмену...  
Но в сутках есть волшебный час,  
когда я снова, как из пены,  
предстану юной и нетленной,  
незаменимой, неразменной —  
в лучах твоих влюблённых глаз.

\*\*\*

Лелею в памяти, лелею  
и греюсь, нежась и кружась.  
Тобой по-прежнему боля,  
лелею в мыслях ту аллею,  
где шли мы, за руки держась.

Как будто бы в преддверье рая  
глаза ласкает синева.  
Лелею, холю, обмираю,  
как бусинки, перебираю  
твои бесценные слова.

Украшу губы поцелуем,  
в ушах — два шёпота ночных...  
Да, вот такую, пожилую,  
любить взахлёб, напропалую...  
Как терпят нас в мирах иных,

завистливо взирая сверху  
на жаром пышущий очаг,  
который и за четверть века  
не остудил ещё ночлега,  
не оскудел и не зачах!

Вот так бы и в минуту злую,  
когда покинет бог огня,  
судьбе пропевши аллилуйю,  
поставить точку поцелуя  
в конце угаснувшего дня.

В 92 года Ирина Одоевцева вернулась из Франции в Россию, в свой родной Петербург, единственная, кажется, из всех поэтов-эмигрантов, осуществив мечту, выраженную Бродским: "На Васильевский остров я приду умирать". Её спрашивали корреспонденты: "Как Вы смогли в таком возрасте решиться на такой шаг, так круто изменить свою жизнь?" — "Только в таком возрасте и можно рискнуть!" — шутила она.



**Ирина Одоевцева на встрече с читателями (Ленинград, 1987)**

"Как Вы смогли пережить своё возвращение в этот город, где прошла Ваша юность? Как у Вас не разорвалось сердце от картин былого?" Одоевцева отвечала: "Я полностью отрешилась от прошлого. Да, оно было, но сейчас его нет. Я живу только сегодняшним днём. И я счастлива".

Умерла она 14 октября 1990 года в возрасте 95 лет, прожив три года на родине. Вот строки одного из последних её стихотворений:

Хоть, бесспорно, жизнь прошла,  
песня до конца допета,  
я всё та же, что была:  
и во сне, и наяву  
с восхищением живу.

В женской поэзии тему старости затронула и прекрасно раскрыла Инна Лиснянская, которой сейчас уже прилично за 80.

Два брачных бражника, чьи крылья — нервный шёлк,  
и первый выстрел почки,  
и строчка дятлова, и соловьиный щёлк,  
и дождика звоночки, —  
весна блаженствует: приспели времена  
раскрепощенья духа,  
и речь открытая на улице слышна,  
да я уже старуха.

Так обаятельно-легко, чуть ли не с юмором писать о старости могла только разве Крандиевская-Толстая. У Лиснянской это получается не хуже.

### Старость

Вот до снега с тобой  
мы выходим на просеку,

потому что зимой  
нету силушки — по снегу.

...Где до тающих дней  
мы довольны берлогою —  
с коробком новостей  
и сторонней подмогою.

Вот и мысли летят,  
словно листья отдельные,  
и понять не хотят,  
что уже запредельные.

Ахматова тоже сравнительно долго жила, но у неё нет этой темы. Она — вечная дама. Цветаева, писавшая: "когда я буду бабушкой, годов через десяток, причудницей, забавницей — вихрь с головы до пяточек!", Татьяна Бек, обещавшая: "я буду честная старуха", — не успели, не стали ими. Но сполна испила из этой горестной чаши Мария Шкапская.

В книге "Непрошедшее время" у меня есть небольшое эссе: "Собачья старость". Под этим выражением обычно подразумевают промозглое, беспросветное существование пожилых людей, одиноких, заброшенных, никому не нужных. Старость Марии Шкапской была именно такой. При жизни она выпустила 5 сборников стихов (последний вышел в 1927 году) и оказалась прочно, капитально забыта. А между тем в 1923 году Флоренский ставил её вровень с Цветаевой, выше Ахматовой.



**Мария Шкапская**

Судя по стихам, Шкапская не была счастливой женщиной. Она с горечью и женской обидой пишет о том, что "девушкой так мало я была, а женщиной была не до конца любимой". Было отчаяние, безумие, нищета, разлуки, утраты. Она покорно несла свой крест.

Господи, всё я приемлю, —  
вышла в назначенный срок,  
в час предначертанный в землю  
лягу в сырой уголок.

Полной отмеренной мерой  
груз моей боли несу.  
Сею с надеждой и верой  
в жизни свою полосу.

Надежды не оправдались. С 1937 года её жизнь — одно сплошное умирание (ей тогда было 46): творческая немота, прижизненное забвение, тяжёлая болезнь мужа, потом — война, на которой без вести пропал младший сын. Подступили старость, болезни, одиночество.

Не смерть страшна. Перед её косою  
душа чиста.  
Нет, страшно то, что даль передо мною  
пуста.

Мария Шкапская была одинока тем пронзительно студящим душу одиночеством, которого не понять непоэту. Её строки шокируют, даже пугают:

Гроб хочу с паровым отоплением,  
на парче золотые отливы,  
жидкость ждановскую против тления  
и шопеновские к ней мотивы.

Калорифер от топки нагреется —  
и в гробу отворяется дверца.  
Пусть хоть кости в могиле согреются,  
если в холоде умерло сердце.

В последние годы жизни её главным утешением стали собаки. В доме всегда жили пудели. Потом она увлеклась собаководством, вошла в совет московского клуба собаководов, как когда-то в президиум Петроградского союза поэтов. Умерла Шкапская странной и нелепой смертью. На выставке собак в сентябре 1952 года к ней кто-то подошёл и сказал, что пудели, прошедшие её контроль, неправильно повязаны. Она упала прямо на арене, где проходил этот собачий парад. Разрыв сердца.

Сегодня солнце всё в морщинках  
и небо — как писал Каррьер.  
Со мною томик Метерлинка  
и неразумный фокстерьер.

И след того, за чем бессмертье,  
в собачьих светится глазах, —  
любви, поднявшейся над смертью,  
любви, преодолевшей страх.

Как-то по ТВ прошёл сюжет: кадры из домашнего архива Георгия Вицина, запечатлевшие последние дни его жизни. Как сейчас помню: собака, стоя на задних лапах, тянет к нему свою мордочку, а он, наклонив к ней ухо, делает вид, что внимательно слушает. Его спрашивают: "Что она говорит?" Отвечает: "Говорит, что любит, что не забудет". (Он уже знал, что дни его сочтены). И серьёзно обращается к пёсией морде: "Ты меня любишь? Правда? Ты меня не забудешь?"

Как важно это в старости — знать, что есть кому тебя помнить, вспоминать. Хотя бы собакам. Ведь пока нас помнят — мы живы. Это важно не только тем, кого помнят, но и тому, кто помнит. Это придаёт смысл его жизни, продлевает жизнь. Один из стихотворных циклов Инны Лиснянской, посвящённый Семёну Липкину, называется "Гимн". Он — о счастливой любви в старости. Настоящее и библейская древность просвечивают одно через другое, друг друга не отменяя. Это гимн Соломону — ответ старой новой Суламифи на царскую "Песнь песней":

Я — твоя Суламифь, мой старый царь Соломон.  
Твои мышцы ослабли, но твой пронизателен взгляд.  
Тайны нет для тебя, но, взглянув на зелёный склон,  
ты меня не узнаешь, одетую в платье до пят,  
меж старух, собирающих розовый виноград.

И, раздев, не узнал бы: как волны песка мой живот,  
и давно мои ноги утратили гибкость лоз,  
грудь моя, как на древней пальме увядший плод,  
а сквозь кожу сосуды видны, как сквозь крылья стрекоз.  
Иногда я тебя поджидаю у Яфских ворот.

Но к тебе не приближусь. Зачем огорчать царя?  
Славен духом мужчина, а женщина — красотой.  
От объятий твоих остывая и вновь горя,  
наслаждаюсь я песней не меньше, чем плотью тугой,  
ведь любовь появилась песне благодаря.

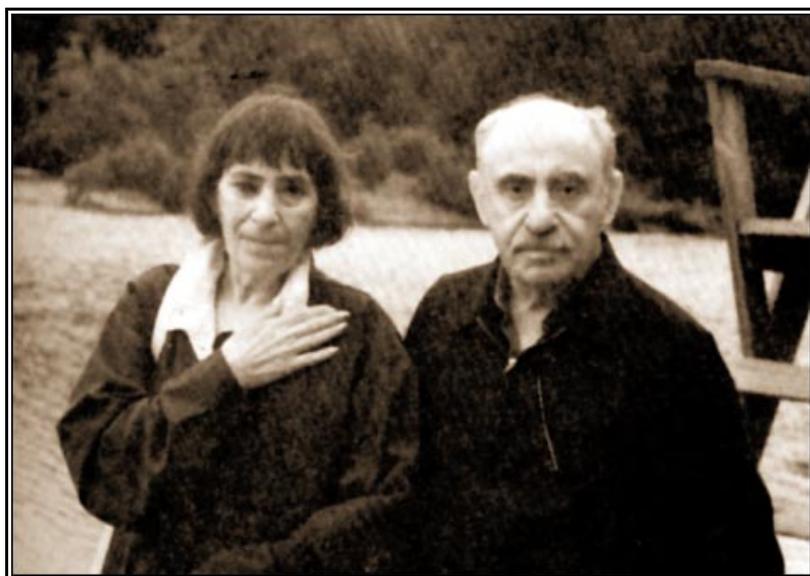
Почти шоирующие образы старости из второй строфы, подобранные как антонимы Соломоновым любовным эпитетам, совсем не жалость вызывают, но ощущение силы духа, способного к столь жёсткой и спокойной беспристрастности взгляда на себя со стороны, что лишь контрастнее выделяется идущий изнутри свет.

Среди космических руин  
есть два сверкания во мгле:  
твоих очей аквамарин  
держит меня на земле.  
Ах, обнимай, обнимай меня!

Уже вступает в третий круг  
тысячелетье на часах.  
И только нежность твоих рук  
держит меня в облаках.  
О, не роняй, не роняй меня!

Так непонятны времена,  
так много бед в родном краю...  
И лишь любовь, она одна  
держит меня в раю.  
О, не бросай, не бросай меня!

Светлана Лебедева написала по моей просьбе песню на эти стихи Лиснянской, и когда она прозвучала у нас на вечере, многие были поражены, что этот панегирик любви написан 80-летней женщиной своему 90-летнему мужу.



**Инна Лиснянская и Семён Липкин**

Ничего из любви и в старости не ушло:  
ты, как прежде, нежности шепчешь мне на ушко,  
и ,как Парка вдевает нитку судьбы в ушко,  
так в кольцо обручальное я продеваю строку  
и восторг прикрепляю к рифменному узелку:  
не встречала прекрасней тебя никого на своём веку!

Нет, это не безмятежное воркование старосветских помещиков. Какие и тут порой кипят страсти! Из стихотворения "Ревность":

В уходящую спину смущённо смотрю из окна...  
Твоя ревность и трогательна, и смешна.  
Неужели не видишь, что я и стара, и страшна,  
и помимо тебя никому на земле не нужна?

Её любовь к нему светится в каждой строчке:

Тяжело мне смотреть, как твой тяжелеет шаг,  
тяжело мне слышать, как дышишь ты тяжело,  
выходя на участок в семь соток, в поющий сад,  
(в нашей бедной стране только сад не нищ и не наг),

я хочу невозможного, — как бы время ни шло,  
был ты каждому утру, как чести и славе, рад.



**Инна Лиснянская**

В 1986 году Липкин попал в больницу с онкологией. Перенёс три операции. Девять месяцев находился между жизнью и смертью.

Я курю фимиам, а он пенится, словно шампунь.  
Я купаю тебя в моей глубокой любви.  
Я седа, как в июне луна, ты седой, как лунь,  
но о смерти не смей! Не смей умирать, живи!

Она отстояла его у смерти. В "триптихе двоих" она с торжеством пишет об этом:

Там, за спиною, больничный порог,  
здесь я всем сердцем пирую:  
первую жизнь подарил тебе Бог,  
я подарила вторую.

Я оказалась сильнее всех нянь,  
и в предпасхальную сырость  
я отпихнула костлявую длань  
и не дала тебя выкрасть.

Радуйся жизни! Дыши и пиши,  
мальчик мой седоголовый,  
в этой воистину райской глуши  
с видом на берег сосновый.

Но недолго оставалось ему дышать и радоваться. Семён Израилевич Липкин умер

в последний день марта. В тот день Лиснянская не услышала, как он вышел в сад — ни стука палки, ничего. Смотрит — его нет. Вышла в сад — а он лежит, лицом к дому, уже возвращался. Не вернулся. Одна из последних книг Инны Лиснянской "Без тебя" посвящена памяти мужа.



Да, и в своём семействе нет пророка,  
и ты ушёл настолько одиноко,  
как будто меня нету и в помине.  
О стариковских думал ли обидах?  
Ты отдал на ходу последний выдох  
ещё не оперившейся рябине.

А время прёт своим безумным ходом,  
дыша давно прокисшим кислородом  
и на деревьях делая насечки.  
Конечно же, не без его участия  
разделена я ровно на две части:  
одна — в гробу, другая — на крылечке.

Встал над тобою чёрный гранит.  
Необработан камень с торца.  
Ангел, который меня хранит,  
обрёл черты твоего лица  
в нимбе седого венца.

Голосом, как окислённая медь,  
он говорит мне: кончай скорбеть,  
это тебе не к лицу.  
Ты рождена, чтоб любить и петь  
землю и славу Творцу.

Помню, ещё в 80-х годах меня поразило стихотворение Ирины Снеговой "Любовь", то, как воспринимается это чувство нами в юности и как меняется представление о главных

жизненных ценностях в поздние годы. Когда я прочла его на одном из своих вечеров — оно перекрыло, перевесило собой впечатления от всего, что звучало накануне. Там старуха-соседка рассказывает о том, как любил её покойный муж сапожник.

Зимой мой хозяин тачает, бывало,  
а я уже лягу, я спать мастерица.  
Он встанет, поправит на мне одеяло,  
да так, что не скрипнет под ним половица.

И сядет к огню в уголке своём тесном,  
не стукнет колодка, не звякнет гвоздочек...  
Дай Бог ему отдыха в царстве небесном!  
И тихо вздыхала: "Жалел меня очень..."

В ту пору всё это смешным мне казалось.  
Казалось, любовь чем сильнее, тем злее, —  
трагедии, бури... Какая там жалость!  
Но юность ушла. Что нам ссориться с нею!

Недавно, больная, бессонницей зябкой,  
я встретила взгляд твой — тревога в нём стыла.  
И вспомнилась вдруг мне та старая бабка, —  
как верно она про любовь говорила!

Юность слепа, нетерпелива, резка, жестока.

Отвергаю рай, где проститутка свеча!  
Выбираю ад, где ангел в снегу!

(Л.Губанов)

Старость мудра, терпима, добра и дальнорка. "Большое видится на расстояньи".

Я выучусь стареть и умирать.  
Теперь уже мне ничего не страшно.  
И помнит только старая тетрадь  
про наш с тобой счастливый день вчерашний. —

писала я после смерти мамы. А великий "психотерапевт" Лариса Миллер отвечала мне в стихах:

А меня не учили стареть,  
а меня умирать не учили.  
Луч небесный однажды вручили  
и велели сиять и гореть  
каждый год, каждый день, каждый час,  
не дымя, не чадя, не сгорая,  
вопреки, несмотря, невзирая,  
освещая и тех, кто погас.

июль 2010